

Мужчины феи
и мой новый
парень-быклюд

— Мария Кирова —

18+

Мария Кирова

**Мужчины феи и мой
новый парень-быколюд**

«Автор»

2026

Кирова М.

Мужчины феи и мой новый парень-быколюд / М. Кирова —
«Автор», 2026

Ксения была тихой художницей и не верила в сказки. Пока после похорон бабушки не нашла старое кольцо, которое намертво сжало её палец, а зеркало не открыло проход в другой мир. В Аэдрине Ксению объявляют Хранительницей Пелены – живой границы между людьми и древними существами. Прекрасные мужчины-феи обещают защиту и ответы, но за их безупречной вежливостью скрываются ложь, опасные ритуалы и желание распоряжаться её судьбой. Единственный, кто не пытается сделать выбор за неё, – Дарнок. Огромный рогатый изгнанник, которого при дворе считают чудовищем. Магия связала их боль, дыхание и самые сокровенные желания. Теперь Ксения чувствует каждый его удар, а Дарнок – каждый её страх. жденной близости, магии выбора и страсти, которую невозможно подделать.

© Кирова М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Кольцо на краю стола	5
Глава 2. Линия, которая не дышит	8
Глава 3. Зеркало с серебряной подложкой	12
Глава 4. Священная гостья	15
Глава 5. Метка	20
Глава 6. Этикет шипов	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Мария Кирова

Мужчины феи и мой новый парень-быколод

Глава 1. Кольцо на краю стола

Шкатулка стояла на верхней полке платяного шкафа, за зимними пальто, пахнущими нафталином и лавандовым саше. Я нашла её, снимая пальто с вешалки. В двадцать семь лет я считала, что знаю бабушкину квартиру наизусть, но этой вещи не помнила. Шкатулка была тяжёлой, из тёмного дерева, с потёртой латунной защёлкой. Не заперта. Внутри – несколько пожелтевших фотографий, бумажный пакет с сухими цветами и кольцо.

Я выложила содержимое на кровать. Фотографии я знала наизусть: бабушка молодая, с тёмной косой, у какого-то камня; бабушка постарше, в зимнем пальто, у подъезда. Цветы рассыпались в труху при прикосновении – лаванда, как в саше, которые бабушка раскладывала по ящикам. Кольцо лежало в углу шкатулки, чуть перекатившись, будто соскользнуло на повороте.

Кольцо было сделано из тёмного матового металла графитового цвета – не серебро и не железо. По ободу шла гравировка: мелкие насечки складывались в узор или, возможно, в буквы, но я не могла их разобрать. Я поднесла кольцо к настольной лампе. Линии казались неровными, местами более глубокими, словно резец дрожал. Я попыталась сфотографировать кольцо, но камера телефона не смогла сфокусироваться: насечки расплывались, как отпечаток пальца на стекле. Я сделала ещё три снимка. Все вышли одинаково нечёткими.

Прятать вещи без причины было не в бабушкиных правилах. Бабушка редко что-либо объясняла – молчала, а потом оказывалось, что молчание и было объяснением. «Не трогай» – это относилось к шкатулке? К кольцу? Я не помнила. Помнила только тон, которым бабушка обычно произносила: «Не балуйся с розеткой». Спокойно, один раз, без повторений – одного предупреждения всегда хватало.

Были и другие фразы. «Надень, если станет страшно» – я слышала это дважды: в детстве, когда просыпалась от кошмаров, и в прошлом году, когда бабушка уже лежала в больнице и, кажется, путала слова. «Поймёшь, когда придёт время». Время пришло. Вчера были похороны: гроб, обледеневшие ступени крыльца, тётя Валя с пирожками, к которым никто не притронулся. Понимания не было.

Я положила кольцо на ночной столик. Оно легло с тихим стуком – тяжелее, чем выглядело. Я задвинула шкатулку с фотографиями обратно в шкаф, повесила пальто, закрыла дверцу. Столик стоял у кровати, и кольцо лежало на краю, у стены, в полосе света от лампы. Я выключила лампу, легла.

Сон шёл рвано. Я просыпалась в три, потом в четыре, потом в начале пятого. Каждый раз комнату заполняла тишина, какая бывает только в чужих квартирах, – слишком плотная, будто привычные звуки были смешаны в неверной пропорции. Кондиционер у соседей гудел ровно, но в бабушкиной квартире даже этот гул казался чужим, как подсветка незнакомого телефона. Я ворочалась, подтыкала подушку и снова засыпала.

В пятом часу я проснулась от ощущения, которое не имело источника. Не звук, не свет – что-то в составе воздуха. Как в музее, когда стоишь перед картиной и чувствуешь, что за тобой кто-то стоит, хотя зал пуст. Я открыла глаза.

Комната была тёмной. Свет фонаря за окном ложился на потолок тусклым прямоугольником, чуть желтее обычного. Я села на кровати. Справа стоял ночной столик; на нём – лампа, будильник и кольцо. Я посмотрела влево – окно закрыто, штора задёрнута. Посмотрела прямо.

Зеркало висело на стене напротив кровати. Старое, в деревянной раме, с серебряной подложкой – бабушка говорила, что серебряное, не алюминиевое, настоящее. В темноте оно казалось мутным окном в ещё более тёмную комнату. Я смотрела на своё отражение – бледное пятно лица, тёмные волосы – и видела за спиной стену, дверь шкафа, край комода.

Силуэт я заметила боковым зрением, как замечаешь движение на периферии – раньше, чем поворачиваешь голову. Широкие плечи. Тяжёлая, склонённая голова, а над ней – два тёмных выступа, расходящиеся в стороны, как ветви. Рога. Силуэт стоял за моей спиной в зеркале, в той части отражения, где должна была быть стена между шкафом и комодом.

Я повернула голову. Стена. Шкаф. Комод. Ничего. Я снова посмотрела в зеркало – силуэта не было. Только моё отражение, бледное, с тёмными провалами вместо глаз. Сердце билось часто, но не в горле, а где-то ниже, в солнечном сплетении. Я встала, проверила дверь – заперта, щеколда на месте. Окно – закрыто, шпингалет опущен. Я обошла комнату, заглянула за шкаф, за комод, за штору. Никого.

Я легла обратно, не включая свет. Зеркало оставалось тёмным и пустым. Я смотрела в него, пока сон снова не затянул меня.

Утро было серым, без дождя. Я села на кровати, потёрла глаза и посмотрела на столик. Кольцо лежало не там, где я его оставила. Вчера оно было у стены, в полосе света. Теперь – у края столика, в полутора сантиметрах от кромки. Я достала из ящика письменного стола металлическую тридцатисантиметровую линейку с миллиметровыми делениями. Положила рядом с кольцом и измерила расстояние от края столика до ближайшей точки кольца. Пятнадцать миллиметров. Полтора сантиметра.

Я вспомнила, как вчера ставила кольцо – у стены, вровень с ножкой лампы. Проверила стол – поверхность ровная, без наклона. Потрогала – не качается. Окно закрыто. Сквозняка нет. Я вернула кольцо на место, к стене, прижала к ножке лампы. Вышла на кухню, выпила воды, постояла у окна. Вернулась через пять минут.

Кольцо снова лежало у края. Я измерила – четырнадцать миллиметров. На миллиметр ближе, чем в первый раз. Я вернула кольцо к ножке лампы и стала следить за ним, не отводя глаз. Оно лежало неподвижно: металлический ободок на деревянной поверхности. Я отвернулась, чтобы взять телефон со стола, – поворот головы, секунда, не больше. Кольцо сдвинулось на полтора сантиметра. Я снова измерила расстояние.

Я села на кровать и стала смотреть. Десять минут, пятнадцать, двадцать. Кольцо лежало. Я встала, чтобы закрыть дверь в коридор, и когда обернулась, кольцо снова было у края. Я не видела движения, не слышала звука. Только результат.

Я взяла кольцо в руку. Оно оказалось тяжёлым и неожиданно тёплым для металла, лежавшего в прохладной комнате. Гравировка ощущалась под пальцами как заживший шрам – бороздки, которые хотелось прочесть на ощупь. Я поднесла кольцо к глазам. Насечки казались знакомыми, но не складывались в буквы; скорее в них угадывался ритм, как в рисунке на бересте, который видишь, но не можешь перевести в слова.

Я надела кольцо не из храбрости, а из упрямства, которое бабушка называла «лебедевским» тем же тоном, каким говорила «не трогай». Если вещь вела себя как живая, следовало понять почему, а не прятать её обратно в шкатулку. Я выбрала безымянный палец левой руки. Размер почти подошёл: металл лёг плотно, но не впиритурку.

Жжение появилось через секунду. Несильное, но отчётливое – как от прикосновения к керамической кружке, которую только что сняли с плиты. Я дёрнула рукой и попыталась стянуть кольцо, но оно упёрлось в сустав. Я потянула сильнее – боль стала резче, и я останови-

лась. Палец вокруг кольца покраснел и слегка опух; теперь кольцо сидело плотнее, чем секунду назад. Я попыталась проворачивать его, тянуть, намазывать палец.

Под кольцом и чуть выше на коже проступил бледный контур, похожий на незаконченную татуировку: линии словно ещё не решили, станут ли рисунком. Я разглядела не узор и не буквы, а форму, которую пока не могла определить. Так художник смотрит на незаконченный набросок: композиция уже намечена, но сюжет ещё не проявился.

Я встала и подошла к зеркалу. Утреннего света из окна было достаточно, чтобы видеть отражение целиком. Я смотрела на себя – растрёпанные волосы, тёмная футболка, бледное лицо. Кольцо на пальце тускло поблёскивало. Контур на коже чуть потемнел за те минуты, что прошли с момента надевания.

Силуэт стоял за моей спиной. Широкий, тяжёлый, с головой, наклонённой так, будто он рассматривал мой затылок. Рога расходились вверх и в стороны, тёмные, матовые, как и кольцо. Я не обернулась. Я смотрела в зеркало и видела – отражение комнаты за спиной не совпадало с тем, что было в комнате. Вместо стены между шкафом и комодом в зеркале была темнота, и в этой темноте стоял силуэт. Ближе, чем ночью. Достаточно близко, чтобы я различила, что он смотрит на меня. Не на моё отражение – на меня.

Кольцо нагрелось сильнее. Контур на коже потемнел ещё на тон, а жжение поднялось от пальца к запястью – не болезненное, но явное, как прилив крови к руке. Силуэт в зеркале не двигался. Только стоял и смотрел.

Я обернулась. Стена, шкаф, комод. Тёмные обои с мелким рисунком, которые бабушка выбирала в девяностых. Никого. Я снова посмотрела в зеркало. Силуэт медленно тускнел, словно на экране уменьшали яркость. Рога стали полупрозрачными и исчезли; плечи расплылись, а темнота сменилась обычным отражением стены.

Я посмотрела на свою руку. Кольцо сидело плотно, палец слегка опух, кожа под кольцом и вокруг него была розовой, с проступающим сероватым контуром. Жжение стало ровным – не сильным, но постоянным. Я потянула кольцо ещё раз. Оно не сдвинулось.

Я села на кровать. Руки не дрожали – я проверила, вытянув их перед собой. Не дрожали. Сердце билось часто, но ровно. Я была напугана – это слово подходило, и я не стала искать другое, потому что художники называют вещи своими именами. Я была напугана, и кольцо жгло палец, и в зеркале был кто-то, кого не было в комнате.

На ночном столике лежала линейка. Я взяла её и посмотрела на пустое место у края, где ещё недавно измеряла расстояние до кольца. Пятнадцать миллиметров – цифра осталась в памяти, хотя теперь кольцо было на пальце и расстояние больше ничего не значило. Художники измеряют. Даже когда измерять нечего.

Я снова посмотрела в зеркало. Обычное отражение: комната, окно, кровать и моё бледное лицо. Серебряная подложка давала чистый, чуть холодноватый тон – такой бывает у старых бумажных фотографий. Ничего лишнего. Я поднесла руку к зеркалу и посмотрела на контур метки. Линии были неровными, но складывались во что-то целое, у чего были край и середина. Как у наброска, который ещё не закончен, но композиция уже держится.

В квартире было тихо. За окном – серое небо, двор, деревья без листьев. Я сидела на краю бабушкиной кровати, в бабушкиной квартире, с кольцом на пальце, которое не снималось, и меткой на коже, которая темнела. В зеркале на стене больше никого не было. Но я знала, что видела, и это знание не укладывалось в рамки, которые я привыкла использовать. Не сон, не усталость, не игра света. Силуэт стоял в зеркале и смотрел на меня, и кольцо отозвалось теплом, и метка проступила.

Бабушка говорила: поймёшь, когда придёт время. Я не понимала. Но кольцо было на руке, и снять его было нельзя, и за серебряной поверхностью зеркала кто-то знал, что я здесь.

Глава 2. Линия, которая не дышит

Я сидела на полу, привалившись спиной к кровати. Блокнот лежал на коленях, карандаш – в правой руке. Левая рука с кольцом была вытянута вдоль бедра, повернута ладонью вверх. Метка на коже безымянного пальца была сероватой, как синяк на третий день – не свежая, но ещё не пожелтевшая. Я перенесла взгляд с руки на блокнот и обратно. Потом снова.

Я рисовала. Не эскиз и не набросок – пыталась зафиксировать метку, перенести на бумагу точно, линия за линией. Карандаш держала легко, ближе к кончику, как при тонкой штриховке. Левая линия контура – короткая, чуть загнутая внутрь. Правая – длиннее, с изломом посередине. Внизу – дуга, замыкающая форму. Я подняла блокнот к свету и сравнила рисунок с рукой. На бумаге контур казался короче – не на миллиметр, а примерно на полфаланги. Я стёрла его и нарисовала снова, намеренно удлинив линии. Теперь рисунок был длиннее первого, но метка на руке выглядела ещё длиннее, будто росла, пока я рисовала.

Я перевернула лист. Нарисовала в третий раз, не сверяясь с рукой, по памяти. Потом посмотрела на палец. Метка совпадала с рисунком – но только с рисунком по памяти, не с тем, что я видела сейчас. Будто метка знала, когда на неё смотрят, и менялась в соответствии с ожиданием. Я закрыла блокнот, положила карандаш сверху. Пальцы левой руки сжались и разжались. Кольцо сидело плотно, не двигалось. Метка оставалась сероватой и ровной.

Я потянула кольцо. Не дёрнула – обхватила большим и указательным пальцами правой руки и потянула, проворачивая, как тугую крышку. Боль пришла сразу – резкая, горячая, от пальца вверх по сухожилию до локтя. Я остановилась. Подошла на кухню, открыла морозильник, достала лёд и завернула его в полотенце. Приложила к пальцу. Кожа онемела от холода, кольцо сдвинулось на полмиллиметра, может, на миллиметр. Потом лёд растаял, палец снова опух, и кольцо село ещё плотнее. Я попробовала масло – густое, подсолнечное, из бутылки на столе. Палец блестел, кольцо не двигалось. Я попробовала мыло. Рука была в мыле и масле, а тёмное матовое кольцо не желало сдвигаться.

На третьей попытке – после нового охлаждения и сильного рывка – кожа вокруг кольца потемнела. Не покраснела от усилия и не посинела от холода, а именно потемнела. Сероватый контур метки расплылся, захватив проксимальную фалангу, а цвет стал насыщеннее, словно на акварель нанесли второй слой. Я остановилась, вытерла руку полотенцем и смотрела, как потемнение распределяется ровнее, но не исчезает.

Я не стала тянуть в четвёртый раз.

Комод стоял у стены, напротив окна. Тёмное дерево, три ящика, верхний – неглубокий, для мелочей. Я открыла верхний ящик и выложила содержимое на пол: катушки ниток, пуговицы в жестяной коробке от монпасье, связка ключей на ржавом кольце, конверты с квитанциями за электричество и газ. Нижний ящик – бельё, сложенное стопками, пахнущее лавандой. Средний – тетради и бумаги. Я вытащила всё.

Блокнот в кожаной обложке. Кожа потрескавшаяся, тёмно-коричневая, с заломами на сгибе. Обложка без надписи. Половина страниц вырвана: у корешка остались рваные гребешки, бумага – с неровными краями. Остальные страницы исписаны быстрым почерком, наклонённым влево. Бабушкин почерк – я узнала его по двум-трём запискам на холодильнике. Буквы мелкие, тесные, с нажимом на согласных. Между строк – зачёркивания: иногда целый абзац, иногда одно слово, перечёркнутое и написанное заново.

Я перелистывала, водя пальцем по строчкам. Бабушка не вела дневник – записи были обрывочными, без дат, без обращений. Отдельные фразы, выхваченные из контекста, которого не было.

На третьей странице – «связь выбора». Два слова, написанные без кавычек, без подчёркивания, посреди абзаца, который был зачёркнут целиком. Я смогла разобрать только фраг-

менты зачёркнутого: «...если она понимает... нельзя заставлять...» Остальное – густая линия шариковой ручки, сквозь которую проступали отдельные буквы, но не слова.

На пятой странице был незачёркнутый обрывок: «...обе стороны держали... нельзя одной...» Далее фраза обрывалась – страницу вырвали. Я поднесла блокнот к окну. Косой свет выявил на следующем листе вдавленный след последней строки. Его можно было прочесть по рельефу, как чеканку на монете: «...держат одной – всё равно что держать воду в одной ладони». Я перечитала строку дважды. На чистой странице своего блокнота выписала: «связь выбора», «обе стороны держали», «нельзя одной», «держат воду в одной ладони». Слова лежали на бумаге как обломки и не складывались в целое.

На седьмой странице – единственная строка, подчёркнутая дважды. «Не снимай, что бы ни случилось». Рядом, на полях, мелким почерком, поперёк текста – пометки, похожие на дневник самочувствия. «Рука болит третий день». «Опять не спала». «Зеркало тусклое». «Кольцо холодит к ночи». Даты стояли не везде, но несколько я разобрала: «14/III», «19/III», «2/IV». Без года. Без контекста. Бабушка писала это для себя – или для того, кто будет читать после неё, но не объясняла, потому что считала, что читающий уже знает.

Я не знала.

Бабушка знала. Писала, но не объясняла; носила кольцо, хотя рука болела и зеркало тускло. До конца жизни бабушка так его и не сняла.

Я закрыла блокнот. Подержала в руках – кожаная обложка была тёплой, как нагретый камень. Я положила блокнот на ночной столик, рядом с линейкой. Собрала нитки и пуговицы, сложила обратно в ящик. Бельё не тронула. Блокнот оставила на столике.

День прошёл в тишине. Я не выходила из квартиры – не потому что боялась, а потому что не знала, куда идти. К врачу – и что сказать? Кольцо не снимается, метка темнеет, в зеркале был силуэт, бабушка вела записи о руке и зеркале? В полицию? В церковь? Я позвонила тёте Вале, спросила, не оставила ли бабушка документы, завещание или инструкции. Тётя Валя сказала: «Каких инструкций? Она и так всё тебе оставила, квартира на тебя уже переоформлена». Я положила трубку и больше не звонила.

К вечеру метка на пальце была тёмно-серой, как грифель мягкого карандаша. Кожа вокруг – нормального цвета, не воспалённая, не опухшая сильнее, чем утром. Только метка. Я зарисовала её снова – на этот раз не сравнивая с рукой, а рисуя по ощущению, как будто перенося не форму, а вес. Рисунок вышел другим. Не точнее и не хуже – другим. Я посмотрела на руку, на рисунок. Метка на руке совпадала с рисунком. Я не знала, совпадала ли она с тем, что видела утром.

Я встала и подошла к зеркалу.

Серебряная подложка давала отражение холодного тона – не голубого, а скорее стального, с зеленоватым отливом, как у старого серебра, которое долго не чистили. Я видела себя: тёмная футболка, бледное лицо, тёмные волосы, собранные в хвост. Кольцо на левой руке. За спиной – комод, шкаф, стена.

Я посмотрела на шкаф. В комнате шкаф стоял прямо, задней стенкой к стене, передней – к кровати. В отражении шкаф стоял под углом, не параллельно стене, а развёрнутый, будто зеркало смотрело не в комнату, а в другую – с тем же шкафом, но поставленным иначе. Я обернулась. Шкаф стоял прямо. Снова посмотрела в зеркало – шкаф стоял под углом. Угол был небольшим, градусов пять-семь, но я видела асимметрию, как видит перекошенную раму: не сразу, но заметив, уже не перестаёшь видеть.

Я коснулась рамы зеркала. Дерево было обычным – сухим, чуть шероховатым на срезах. Серебряная поверхность оказалась холоднее: не просто как стекло или металл в прохладной комнате, а как ледяная вода из крана. Холод вошёл в палец и метку, а метка ответила ощущением, которому я не могла подобрать название. Будто палец стал частью поверхности зеркала и

граница между кожей и серебром истончилась. Я отняла руку. Холод остался в пальце, проник глубже, к кости, и лишь через минуту начал отступать.

Я посмотрела в зеркало ещё раз. Отражение комнаты было правильным – шкаф стоял прямо. Будто ничего не было. Я запомнила асимметрию так, как запоминают неточную цитату: слово в слово не вспомнить, но ощущение, что фраза звучала иначе, не отпускает.

Я легла на кровать. Не свою – у меня не было своей в этой квартире. Бабушкину. Матрас был жёстче привычного, подушка – выше, с запахом лаванды, который к ночи становился гуще, не сильнее, а гуще, как будто растение дышало в темноте. Я легла на спину, вытянула руки вдоль тела. Левая рука с кольцом лежала поверх одеяла. Метка была тёмной на бледной коже, как татуировка, которую сделали не до конца – контур есть, а заполнения нет.

Кольцо холодило. Не жгло – отдавало ровным холодом, как металлическая оконная ручка в декабре. Ощущение поднималось от пальца к запястью, медленнее утреннего жжения, и достигло середины предплечья. Было не столько неприятно, сколько странно: словно рука до локтя погрузилась в воду той же температуры, что кожа, но иной плотности.

Я положила блокнот под подушку. Не потому что верила, что он понадобится ночью, а потому что не хотела оставлять его на столе, где он лежал бы один. Глупо. Я знала, что это глупо. Блокнот – бумага, кожа, ничего больше. Но в нём было подчёркнутое «не снимай, что бы ни случилось», и я положила его под подушку, как кладут вещи, которые должны быть под рукой.

Холод поднялся до локтя и остановился. Я закрыла глаза.

Сон пришёл без перехода. Не было момента, когда сознание гаснет, – просто комната исчезла, и вместо неё был камень.

Серый. Жёлто-серый, с вкраплениями кварца, которые блестели на солнце. Скальная стена поднималась слева, уходя вверх, за пределы зрения. Справа – обрыв, и за обрывом – небо, белёсое, без облаков, с солнцем, которое стояло низко и не грело. Ветер был сухой и шёл снизу, из ущелья, неся запах пыли и чего-то ещё – не травы, не хвои, чего-то, что я не знала, но узнавала, как узнают запах, который чувствовали в детстве и забыли.

Камень под ногами был тёплым. Я стояла на каменном уступе, узком, на одну ступню в ширину, и стена слева, и обрыв справа, и ветер снизу. Я не боялась – во сне не было страха, было ощущение, что я стою здесь давно, что это место знакомо мне по какому-то неуловимому признаку, как знакомы места, которые рисуешь по памяти, не бывая в них.

Потом я увидела рога.

Не в зеркале – не силуэт, не тень, не плоский контур. Над гребнем скалы поднимались тёмные матовые рога. Я ясно различала бороздки, похожие на древесные, и старый излом у основания левого рога со светлым ободком. Рога медленно двигались, и следом над гребнем показалась голова. Широкий лоб, тёмная кожа, глаза с красноватым отблеском, как у животного, способного видеть в темноте. Голова казалась тяжёлой, шея – мощной; от ушей к плечам пролегали напряжённые мышцы.

Я стояла на уступе и смотрела вверх. Существо за гребнем не двигалось – смотрело на меня. Не как силуэт в зеркале, который наблюдал из темноты, – смотрело в упор, с близкого расстояния, и я видела, что оно видит меня. Не отражение, не образ – меня.

Ветер усилился. Пыль поднялась из ущелья, и камень под ногами стал горячее, и я почувствовала, что уступ поднимается – медленно, как лифт, без вибрации, – и я приближаюсь к гребню, к рогам, к глазам. Я не двигалась. Местность двигалась подо мной, и я не могла это остановить, и не пыталась.

Потом я проснулась.

Темнота. Тишина. Я лежала в бабушкиной кровати, на спине, руки вдоль тела. Левая рука – с кольцом. Холод в пальце, запястье и локте остался. Метка не была видна в темноте, но я чувствовала её, как чувствуют давление повязки, не видя самой повязки. В комнате сто-

яло тяжёлое, близкое ощущение присутствия – словно кто-то молча находился у кровати. Я повернула голову. Комната была пуста. Шкаф, комод, дверь, окно. Линейка на ночном столике, блокнот под подушкой. Никого.

Я снова легла. Сердце билось быстро, но ровно. В ноздрях ещё стоял сухой запах каменной пыли, которого не было в квартире. Обе руки были тёплыми, даже левая, с кольцом: холод отступил, и палец снова ощущался просто пальцем с неснимаемым кольцом. Я закрыла глаза. Камень под ногами, ветер из ущелья, рога над гребнем – всё это вспоминалось как место, где я действительно побывала, а не как сон. Будто я и правда стояла на уступе, чувствовала тёплую скалу и встречала взгляд существа за гребнем.

Я лежала в темноте и слушала непривычно плотную тишину, словно состав звуков в квартире изменился. За стеной ровно гудел соседский кондиционер, но этот гул уже не заменял привычного шума моего собственного дома. Где-то за стеной, шкафом и серебряной поверхностью зеркала, отражавшего не ту комнату, кто-то знал, что я здесь.

Глава 3. Зеркало с серебряной подложкой

Я сидела на полу у зеркала. Блокнот – на коленях, карандаш – в правой руке. Левая, с кольцом, лежала на бедре ладонью вверх. Метка уже не была сероватой: за утро она потемнела до тона, который давал мягкий карандаш 6В. Контур, ещё вчера уместившийся на одной фаланге, теперь загибался к запястью – тонкой тёмной линией, похожей на прожилку листа на просвет.

Я снова попыталась зафиксировать метку. Вела линии тем же мягким нажимом, что накануне: короткая слева, длинная с изломом справа, нижняя дуга. Но стоило поднять блокнот к свету, как рисунок снова оказался короче – теперь уже на целый сантиметр. Я стёрла его, удлинила контур и сравнила. Всё равно короче. Метка росла быстрее, чем грифель ложился на бумагу.

На новом листе я нарисовала метку по памяти. Рисунок совпал – но только с образом, который я удерживала в голове, а не с тем, что видела секунду назад. Казалось, метка знала, когда на неё смотрят, и подстраивалась под ожидание.

Я сжала карандаш. Грифель хрустнул и сломался – косой излом, серое острие покатилося по колену. Я не стала точить. Положила обломок карандаша на блокнот и подняла голову.

В зеркале была не моя комната.

За серебряной поверхностью вместо стены между шкафом и комодом открылся каменный уступ. Жёлто-серый кварцевый камень, белёсое безоблачное небо и низкое солнце, которое не грело. Я различала трещины и сухой жёлтый лишайник. Ветер поднимался из невидимого в комнате ущелья; кожей я его не ощущала, но видела, как на гребне колышется сухая трава. Там стоял силуэт: широкие плечи, тяжёлая склонённая голова, тёмные матовые рога с древесными бороздками и старым изломом у основания левого. Силуэт не тускнел и не расплывался. Он смотрел не на отражение, а прямо на меня – и на этот раз не исчезал.

Я не обернулась. Я знала: за спиной – стена, шкаф, комод. Оборачиваться значило проверить то, в чём уже не сомневалась. Вместо этого я смотрела в зеркало, и серебряная подложка была не стеклом, а поверхностью, за которой что-то начиналось. Камень был тёплым – я знала это, хотя не прикасалась. Воздух за зеркалом пах пылью и чем-то ещё, зелёным и горьким, как раздавленная полынь.

Метка на руке отозвалась натяжением, будто нить потянули с другой стороны. Линия контура, загибавшаяся к запястью, стала толще. Я увидела, как линия медленно удлинняется, словно тень от облака ползёт по земле, и тянется к зеркалу, к серебру, к каменному гребню и рогам.

Я отдернула руку. Метка не остановилась. Контур продолжал расти, и вместе с ним росло натяжение – не в коже, а глубже, в сухожилиях, в костях, будто что-то держало меня за палец и тянуло к зеркалу. Рука двигалась. Не резко, не рывком – плавно, как стрелка компаса поворачивается к северу. Я упёрлась ногой в ножку комода. Комод скрипнул по полу, сдвинувшись на сантиметр, но рука продолжала двигаться. Кольцо на пальце нагревалось – ровно, сильно, как керамическая кружка, которую только что сняли с плиты. Тепло шло от кольца к метке, от метки к запястью, и рука поднималась, приближаясь к серебряной поверхности.

Я схватила блокнот левой рукой – той самой, которую тянуло к зеркалу, – и сунула его между пальцами и серебряной поверхностью. Бумага коснулась подложки и почернела. Не загорелась и не обуглилась, а потемнела, как фотоплёнка, которую передержали при проявке: буквы стирались, линии расплывались, грифель дымил тонкой струйкой без запаха и тепла. Лист крошился между пальцами. Серебро оказалось тёплым, как кожа, и податливым, как мокрая глина. Мой палец погружался в поверхность, которая больше ничего не отражала.

Я отдернула руку. Серебро сомкнулось за пальцем, как вода. Палец оказался покрыт не водой, а чем-то безымянным – густым и тёплым. Я посмотрела на руку: метка стала тёмно-красной, как свежий ожог, и пульсировала. Кольцо было холодным. Впервые с момента, когда я его надела, – холодным, как ледяная вода из крана.

Я схватила телефон с пола. Правой рукой – нормальной, слушающейся. Экран загорелся: двенадцать сорок три, пропущенных нет, батарея шестьдесят один процент. Я набрала 112. Гудок. Гудок. Гудок. Тишина – не та, что бывает, когда звонок сбрасывается, а другая, плотная, с неправильным составом звуков, как в чужой квартире. Я опустила телефон. Экран мигнул и погас. Чёрный. Я нажала кнопку включения – экран не отозвался. Держала кнопку десять секунд – пятнадцать – двадцать. Телефон был мёртв.

Левая рука снова поднималась. Я не чувствовала боли – только натяжение, не в мышцах, а глубже, будто нить шла от метки через сухожилия и кость к кольцу, а кольцо тянуло к серебру. Я упёрлась ногой в ножку комода. Комод скрипнул, но не сдвинулся. Рука продолжала двигаться. Правой рукой я схватила связку ключей из верхнего ящика и стиснула её так, что металл врезался в ладонь. Телефон и обгоревший блокнот лежали на полу. Я цеплялась за ключи – за любую вещь, которая связывала меня с квартирой, с миром, где вещи слушались, телефон включался, а зеркало отражало.

Я уже не могла вырвать руку. Упрямство, которое бабушка называла «лебедевским», было не храбростью, а отказом отступить от того, что жжёт. Серебряная поверхность сомкнулась вокруг пальцев, ладони и запястья, стирая границу между кожей и металлом. Метка вспыхнула белым – не цветом, а ощущением ослепительной вспышки за закрытыми веками. Боль пронзила руку от пальца до локтя. Я закричала, но крик остался по эту сторону, а сама я уже оказалась по ту.

Серебро сомкнулось вокруг руки, потом плеча, потом лица. Мир людей схлопнулся за спиной со звуком треснувшего стекла – негромким, но отдавшимся в теле, костях и зубах. Темнота была короткой. Секунда, может, две. Потом – свет.

Я упала на камень не с высоты, а просто рухнула на колени. Выставленные ладони приняли удар. Камень был тёплым и шершавым, с вкраплениями кварца, блестящими на солнце. Воздух оказался другим – плотнее, с привкусом меди и зелени. Я вдохнула и закашлялась не от запаха, а от непривычной плотности, будто воздух был гуще, чем должен. Солнце стояло низко и не грело. Из ущелья поднимался ветер с запахом пыли и полыни.

Метка на руке была тёмно-красной, как свежий ожог, и пульсировала медленным ритмом, похожим на второе сердцебиение от пальца к запястью и обратно. Кольцо впервые с момента надевания стало по-настоящему холодным. Холод не отступал, а палец под металлом казался тоньше, словно кольцо втянуло плоть и стало частью кости.

Я подняла голову. Обернулась. За спиной – стена из шиповника. Живого, с ветками, переплетёнными так плотно, что за ними не было видно неба. Шипы длиной в палец – тёмные, блестящие, как лакированные. Между ветками – белые цветы, мелкие, с запахом, который я узнала: горьковато-медовый, с лавандовой нотой, но острее. Стена была сплошной, без прохода, без щели, без зеркала. Обратного пути не было. Я посмотрела на руки. Левая – с кольцом, с тёмно-красной меткой, пульсирующей. Правая – пустая. Телефон остался там, по ту сторону. Ключи – там. Блокнот – там. Бабушкина квартира, мир, где вещи слушались, – там. А здесь – камень, шиповник, воздух с привкусом меди, и солнце, которое не грело.

Я закрыла глаза. Открыла. Камень под руками был тёплым. Воздух был плотным. Метка пульсировала. Всё это было реальным – не сном, не видением, не отражением. Я была здесь, на каменном полу, в месте, которого не было на картах, в мире, которого не было в учебниках. Я была здесь, и обратного пути не было, и кольцо было холодным, и метка горела.

Потолок был из шиповника. Живые ветки, переплетённые надо мной, с белыми цветами и шипами, и между ними – небо, белёсое, без облаков, с солнцем, которое стояло низко. Я

лежала на спине, на камне, и смотрела вверх. Шиповник шевелился – медленно, без ветра, как будто дышал. Ветки переплетались и расходились, и цветы поворачивались ко мне, как подсолнухи к солнцу.

У ложа стояли двое. Я не сразу их увидела: сначала заметила тени, потом различила контуры. Один был высоким, в тёмной одежде, с лицом, скрытым тенью шиповника. Второй – шире и массивнее; над его головой расходились два тёмных выступа, похожие на ветви. Рога. Матовые, с бороздками и изломом у основания левого рога. Силуэт из зеркала, сна и видения за гребнем стоял у ложа и смотрел на меня уже не как отражение или призрак, а как живое существо. В тёмных глазах мерцал красноватый отблеск. Он видел не образ и не отражение – меня.

Метка на руке пульсировала. Её ритм был медленнее и глубже сердцебиения. Он исходил не от кольца, а словно из-за стены шиповника, из потолка и самого камня под телом. Будто что-то за стеной дышало, метка подстраивалась под это дыхание, кольцо холодило палец, шиповник шевелился, а рогатый силуэт стоял у ложа и молчал.

Глава 4. Священная гостья

Потолок дышал.

Я поняла это, ещё не открывая глаз. Над лицом шуршали переплетающиеся ветки; шипы поворачивались, а горьковато-медовый запах белых цветов становился то сильнее, то слабее, хотя ветра не было. Потолок был живым: не побелка, не бетон и не натяжной пластик, а плотный свод из шиповника. В узких просветах между ветками виднелось белёсое безоблачное небо и низкое солнце, которое не грело.

Я не помнила, когда закрыла глаза. В памяти сохранились рогатый силуэт у ложа, матовые бороздчатые рога со старым изломом слева и красноватый отблеск глаз. Метка пульсировала чужим ритмом, шиповник шевелился, а силуэт молчал. Дальше – пустота, словно плёнка оборвалась между двумя кадрами.

Я открыла глаза. Потолок из шиповника. Камень под спиной – тёплый, шершавый, с вкраплениями кварца. Воздух плотнее, чем должен быть, с привкусом меди и зелени. Метка на руке пульсировала – ровно, глубоко, не в такт сердцу, а в такт чему-то другому, что исходило из стен, из камня, из шиповника над головой.

Я села. Голова не закружилась, тело слушалось, руки и ноги были на месте. Только левая рука с кольцом казалась тяжелее, будто к запястью привязали груз. Я подняла её и осмотрела. Метка была тёмно-красной, как свежий ожог, но кожа вокруг не опухла и не воспалилась: цвет словно находился в самой коже, как пигмент под лаком. Тёмное матовое кольцо сидело плотнее, чем в квартире. Безымянный палец левой руки стал немного тоньше соответствующего пальца правой – всего на миллиметр или два, но я заметила разницу. Художники видят асимметрию автоматически, как перекошенную раму.

Я огляделась. Комната – если это можно было назвать комнатой – была круглой, с каменными стенами, по которым поднимался шиповник и сплетался в потолок. Ложе представляло собой каменный выступ, покрытый плотной тёмно-зелёной тканью с жёстким ворсом. У стены стоял низкий столик с кувшином и чашкой. Напротив находился проём вместо двери – арка, закрытая занавесом из того же шиповника. Здесь ветки переплетались реже, и сквозь них пробивался свет.

Двери не было. Я проверила – обошла комнату по периметру, провела рукой по стене. Камень, шипы, ткань. Ни ручки, ни щели, ни задвижки. Только арка с занавесом из живых веток.

Я подошла к арке и отвела шиповник в сторону. Ветки поддались не как обычный куст, а послушно, словно тяжёлый занавес; шипы сами отклонялись, пропуская меня. За аркой начинался короткий прямой коридор из жёлто-серого камня с вкраплениями кварца. В дальнем конце, за второй аркой, виднелись дневной свет и край сада.

Я шагнула в коридор. Метка отозвалась лёгким натяжением, будто поводок натянулся, но ещё не дёрнул. Я остановилась – ощущение ослабло. Сделала ещё шаг – натяжение вернулось и стало чуть сильнее. Шиповник на стенах коридора зашевелился, ветки повернулись ко мне, а мелкие белые цветы раскрылись шире. Я стояла среди камня и шиповника; метка пульсировала в такт дыханию стен, а кольцо холодило палец.

Коридор вывел к более широкой арке. За ней лежал дневной свет. Я шагнула наружу.

Сад. Высокие кусты шиповника с белыми и розовыми цветами обступали дорожки из мелкого гравия. Между ними стояли каменные скамьи и фонари – стеклянные колбы на кованых крюках, наполненные бледным огнём. К металлическому привкусу воздуха примешивались горьковато-медовый аромат цветов и свежая зелень раздавленной травы. Я вдохнула и закашлялась: лёгкие всё ещё не привыкли к необычной плотности воздуха.

За садом сквозь кусты виднелись строения. Я подошла к краю дорожки, раздвинула ветки – шипы снова отвелись – и увидела низкие каменные стены с бойницами и фигуры в тёмной одежде за ними. Патруль. Двое шли вдоль стены размеренным шагом; примерно через двадцать секунд по тому же маршруту появилась следующая пара. Казармы. Стража. Это место было не просто садом, а укреплённым двором или крепостью со стенами, охраной и строгим порядком.

Я посмотрела на руку. Метка пульсировала в такт чему-то, исходившему из-под ног, из камня и стен. Я стояла в саду мира, которого не было на картах; метка словно дышала вместе с этим миром, кольцо холодило палец, а сам палец был тоньше, чем вчера.

– Вы проснулись.

Голос раздался слева, из-за куста, скрывавшего каменную скамью. На скамье сидел высокий мужчина в тёмно-зелёной одежде, похожей по цвету на ткань ложа. Его лицо я рассмотрела не сразу: ровный свет без теней смягчал черты, словно густая штриховка скрывала линии рисунка. Светлые длинные волосы были убраны назад. Руки лежали на коленях ладонями вверх. Пальцы – длинные, чистые, без мозолей и пятен – принадлежали человеку, не привыкшему к тяжёлой ручной работе.

Рогатого, который стоял у ложа, нигде не было. Я обернулась, заглянула за куст и скамью. Только шиповник, гравий и фонари. Но я помнила рога, глаза и тяжесть взгляда. Метка тоже помнила: при воспоминании её пульс на полтакта сбился, затем снова выровнялся.

– Я Ллевеллин, – сказал мужчина. Его голос звучал тепло и ровно, как молоко, которое подогрели, но не довели до кипения. – Целитель Двора Шипов. Вы в безопасности.

Я не ответила. В чужом мире, среди казарм и стражи, с ожогом на руке и неснимаемым кольцом слово «безопасность» звучало как больничное «всё в порядке» – формально, успокаивающе и ничего не объясняя.

– Назовите это место, – потребовала я. Голос вышел хриплым: горло пересохло, а воздух с привкусом меди раздражал слизистую.

– Аэдрин, – сказал Ллевеллин. – Двор Шипов. Ваш род называет это место иначе, но имя не имеет значения. Имеет значение то, что вы здесь, и что Пелена вас опознала.

– Пелена.

– Граница между миром, который вы знаете, и тем, где находитесь сейчас. Она существует очень давно и держится на вашем роде – на женщинах вашей линии. Вы – Хранительница.

Ллевеллин произнёс это тем же тёплым голосом, без пауз и нажима, как врач сообщает диагноз, который пациенту не понравится, но который уже установлен. Я заметила: он не смотрел мне в глаза. Его внимание было приковано к руке – метке и кольцу. Взгляд оставался профессионально-нейтральным, как у хирурга, осматривающего рану перед перевязкой.

– Моя бабушка, – сказала я.

– Да.

Ллевеллин достал из складки одежды небольшой глиняный сосуд с тёмной глазурью, размером с напёрсток.

– Мазь, – сказал он. – От ожога. Метка оставляет след, когда активируется. Это пройдёт.

Он протянул сосуд. Я не взяла. Ллевеллин не настаивал – держал его на раскрытой ладони. Я видела тёмную густую мазь, чувствовала травяной запах и замечала, что рука целителя не дрожит, а сосуд лежит неподвижно. Он был готов ждать.

– Почему я? – спросила я.

Ллевеллин посмотрел не на руку, а на меня. Светло-серые глаза в ровном садовом свете казались прозрачными. Взгляд был таким мягким, что мне захотелось отступить: не от страха, а от давящей заботы, похожей на слишком тёплое одеяло, подоткнутое со всех сторон.

– Ваш род держит Пелену, – повторил Ллевеллин. – Это не выбор. Это наследие. Кольцо, которое вы надели, – артефакт связи. Оно активировалось, когда... когда предыдущая носительница ушла. Вы – следующая в линии.

– Это не ответ.

– Это всё, что я могу сказать сейчас. Вам нужно время, чтобы понять.

Формула. Не ложь, а тщательно собранная половина ответа, которая должна была звучать целой. Бабушка говорила так же: «Поймёшь, когда придёт время». Время пришло, а понимания не прибавилось. Теперь другой человек в другом мире прикрывал пустоту той же спокойной мягкостью.

– Я хочу домой, – сказала я.

Ллевеллин кивнул. Не отказал – кивнул, как кивают, когда слышат просьбу, которую нельзя выполнить сейчас, но не хотят говорить «нет» прямо. Он повернулся к стене сада, за которой виднелись казармы, и я проследила за его взглядом: шиповник на стене, бойницы, и за бойницами – небо, белёсое, и край чего-то ещё, то ли башни, то ли дерева, далеко, в дымке.

– Дверь есть, – сказал Ллевеллин. – Но не для вас. Пока.

Он повернулся ко мне и указал на стену сада, шиповник и камень. Метка на моей руке отозвалась натяжением, словно с другой стороны потянули за нить. Ветки на стене шевельнулись, переплелись плотнее, цветы повернулись ко мне.

– Пелена узнала вас, – сказал Ллевеллин. – Метка пульсирует в такт границе. Это значит, что связь установлена. Но она не установлена до конца – вы не приняли роль, и Пелена держит вас близко, пока не примете. Выход за пределы двора сейчас – боль. Не наказание. Защита. Пелена не отпускает то, что ей нужно.

– Покажите, – сказала я.

Ллевеллин повёл меня вдоль дорожки, мимо кустов, скамей и фонарей с бледным огнём, к краю сада. Там, где шиповник редел, стояла старая каменная арка с потёртыми краями. За ней тянулась невысокая стена, а дальше начинался обрыв.

Двор Шипов. Я остановилась у арки. Это был не дворец, а крепость, приспособленная для жизни: каменные стены, башни в шиповнике, внутренние дворы, галереи и крытые переходы. За садом виднелись приземистые казармы и размеренно двигалась стража. Ещё дальше поднималась высокая внешняя стена, а за ней до горизонта тянулся тёмный густой лес.

– Серебряный лес, – сказал Ллевеллин, указывая. – Граница двора. За ним – земли, которые вам пока не нужно знать.

Я стояла у арки. Метка пульсировала в такт стенам и шиповнику, чему-то глубокому, поднимавшемуся из камня и земли. Я подняла руку: тёмно-красный контур бился под кожей, кольцо оставалось холодным. Затем протянула ладонь за порог – туда, где заканчивался двор и начинался обрыв.

Линии на метке вспыхнули алым – не все, только часть, как будто кто-то провёл по чёрному контуру красным карандашом. Боль прошла от пальца к локтю – острая, но короткая, – и исчезла. Алый цвет остался.

– Защита, – повторил Ллевеллин. Не «я предупреждал». Не «я же говорил». Просто – слово, без нажима, без торжества. Он стоял рядом, и я отметила, что его дыхание оставалось ровным и почти неслышным, как у человека, который привык к чужой боли и не реагирует на неё.

– Это не защита, – сказала я. – Это клетка.

Ллевеллин не ответил. Он молчал, и молчание было мягким, как его голос. Я видела: он не спорит не потому, что согласен, а потому, что спор считает ненужным. Клетка есть. Спорить с клеткой бесполезно. Он развернулся и пошёл обратно по дорожке. Я отметила, что его шагов почти не слышно: то ли обувь была мягкой, то ли он умел ступать так, что гравий под ногами едва хрустел.

Мы вернулись к комнате. Ллевеллин остановился у занавеса из шиповника, отёрнул ветки, пропустил меня вперёд. Я вошла. Камень, ткань на ложе, столик с кувшином. Ллевеллин поставил сосуд с мазью на столик.

– Наносите тонким слоем, – сказал он. – На метку и вокруг. Не втирать – оставить.

Пауза. Он стоял в проёме арки, и свет из коридора ложился на его лицо, и я увидела, что черты его не так мягки, как казались в саду: скулы выше, подбородок острее, и линия рта – прямая, не улыбка, не нахмуренность, а прямая линия, как у человека, который держит лицо в покое, потому что любое выражение – информация.

– Вам нужно время, чтобы понять, – сказал он.

Снова формула. Я слышала её второй раз за полчаса и уже знала ритм: тёплый голос, мягкий тон, слова, которые звучали как забота и были заботой – но заботой, у которой была функция. Функция – ждать. Функция – не давать ответов, пока спрашивающий не перестанет спрашивать. Бабушка делала так же: «Поймёшь, когда придёт время». Время приходило, а понимания не было, и спрашивать становилось бесполезно, потому что ответ был не в словах, а в том, что бабушка не говорила.

Ллевеллин ушёл. Шиповник сомкнулся за ним, ветки переплелись, и проём арки закрылся, как занавес, и я стояла в круглой комнате с каменным ложем, столиком, кувшином и сосудом с мазью, и дверь не открылась, потому что двери не было.

Я села на ложе. Ткань была грубой, но не холодной – тёплой, как нагретый камень, и я подумала, что камень под ней тёплый не от солнца, а от чего-то другого, от того же, что пульсировало в метке, что шевелило шиповник, что дышало в стенах. Я посмотрела на руку. Метка была тёмно-красной, пульс ровным. Кольцо – холодное. Палец под кольцом – тоньше, чем вчера.

Внутри была густая тёмная мазь с травяным запахом – не полыни, а чего-то мягче, похожего на мяту и землю после дождя. Я зачерпнула немного пальцем и нанесла на метку. Вместо боли метка ответила ровным глубоким теплом. Оно распространилось от пальца через запястье до локтя. Тело постепенно расслабилось: плечи опустились, челюсть разжалась, дыхание стало глубже. Мазь не убирала метку, но приглушала её воздействие.

Я нанесла мазь ещё раз, тонким слоем, как сказал Ллевеллин. Не втирать – оставить. Мазь лежала на коже, тёмно-зелёная, и я смотрела, как метка проступает сквозь неё – тёмно-красная, чуть бледнее, но не исчезающая. Метка не исчезла. Она стихла до фона, как жжение в квартире, как холод в пальце, как всё, что делала метка: приходила, усиливалась, отступала до фона. Но фон был всегда.

Я поставила сосуд на столик, подошла к арке и отвела живые ветки. За ними тянулся короткий коридор; сквозь дальний проём виднелись сад, казармы и крепостная стена. На кованых крюках висели фонари с бледным огнём. Металлический привкус воздуха доходил даже сюда. Всё было реальным: тёплый камень, острые шипы, патрульные пары, проходившие примерно каждые двадцать секунд, и целитель, который говорил «вам нужно время, чтобы понять», не давая ответа.

Я прошла по коридору, вышла в сад и подошла к ближайшему фонарю. На стекле лежала тонкая плёнка влаги, как на окне зимой, когда внутри тепло, а снаружи холодно. Я протянула руку и коснулась колбы. Стекло было тёплым, влага – мелкой, как роса. Я отдернула руку и посмотрела на палец – мокрый; на стекле осталась линия, которую я провела при касании.

Я провела пальцем по стеклу ещё раз. Линия удлинилась. На руке метка была тёмно-красной, пульсирующей, с контуром, который загибался к запястью. На стекле линия была длиннее, тоньше, и я видела, что линия не повторяет контур – она продолжает его, дорисовывает то, чего на коже нет, как набросок, в котором художник провёл линию дальше, чем нужно, и линия оказалась правильной.

Я убрала руку. Линия на стекле медленно тускнела, как отпечаток пальца на зеркале после душа – не исчезала, а бледнела, и через минуту была едва видна. Я посмотрела на палец. Мокрый. Метка – тёмно-красная, ровная. Кольцо – холодное.

Я вернулась в комнату и села на ложе. Мазь оставалась на коже; метка стихла, боль отступила, натяжение ослабло. Ллевеллин назвал её Хранительницей, а кольцо, шиповник и боль за пределами двора подтвердили, что связь существует. От неё нельзя было отмахнуться. Выход тоже существовал – но пока не для меня.

Я посмотрела на левую руку. Метка оставалась тёмно-красной и ровной, но на стекле фонаря линия получилась длиннее, чем на коже. Это значило что-то, чего я пока не могла назвать, но видела – как художник видит незаконченный набросок, в котором композиция держится, а сюжета ещё нет. Ллевеллин сказал: «Вам нужно время, чтобы понять». Время было. Понимания не было. Была комната без обычной двери, мазь на коже и метка, которая стихла, но не исчезла.

Глава 5. Метка

Шиповник раздвинулся.

Стена вдоль коридора разошлась не как обычный куст – упруго и цепляясь, – а как занавес. За ней открылся узкий каменный ход, уходивший вниз. Я остановилась. Ллевеллин, шедший впереди, обернулся. В полутьме его лицо казалось неопределённым, словно линии рисунка скрывала слишком густая штриховка. Он не торопил меня, и это ровное терпение раздражало сильнее, чем комната без двери.

– Куда? – спросила я, удерживая голос ровным, как линию пера.

– В зал подтверждения, – сказал Ллевеллин. – Пелена должна узнать свою Хранительницу.

Формула. Третья за два дня. Сначала: «Вам нужно время, чтобы понять». Потом: «Не для вас. Пока». Теперь: «Пелена должна узнать свою Хранительницу». В каждой фразе я слышала умолчание, более весомое, чем произнесённые слова. «Узнать» – будто Пелена могла меня не узнать. Пока я смотрела в тёмный ход, шиповник за спиной медленно и беззвучно смыкался, закрывая путь назад.

Метка вспыхнула белым – не цветом, а резким ощущением, похожим на вспышку, которая остаётся за закрытыми веками. Я вскрикнула. Ллевеллин не дёрнулся. Только его пальцы на сосуде с мазью сжались чуть сильнее.

Ритуал уже начался. Я поняла это не из слов Ллевеллина – из тела. Метка пульсировала в такт стенам, в такт камню под ногами, в такт шиповнику, и мои шаги, когда я пошла за Ллевеллином в ход, совпадали с пульсом, и камень под ногами был тёплым, и стены были тёплыми, и воздух – плотным, с привкусом меди и зелени, и я шла вниз, и шиповник за спиной сомкнулся, и обратного пути не было.

Коридор вёл вниз. Не круто – плавным, положим наклоном, как пандус в подземный переход. Стены были из того же жёлто-серого камня с вкраплениями кварца, но здесь кварц блестел ярче, и я отметила, что блеск не отражал свет – светился. Тусклый, белёсый, как свечение гнилушки в тёмном лесу. Камень дышал. Я чувствовала это ступнями – не тепло, не вибрацию, а именно дыхание: медленный ритм, вдох-выдох, и метка на руке дышала в такт, и кольцо было холодным, и холод не отступал.

Ллевеллин шёл впереди. Бесшумно. Я следила за его спиной – тёмно-зелёная ткань, светлые волосы, прямая осанка – и отмечала, что он не оборачивался. Не проверял, иду ли я. Знал, что иду. Знал, потому что метка пульсировала, и Пелена знала, где её носительница, и Ллевеллин знал, что Пелена знает.

Коридор расширился. Стены разошлись, потолок поднялся, и я вошла в зал.

Зал был круглым, из гладкого жёлто-серого камня. Тусклый свет исходил от стен, потолка и пола и отражался в отполированной поверхности. В центре стояло низкое широкое каменное ложе, накрытое грубой тёмно-зелёной тканью. Вдоль стен поднимались серебряные зеркала в каменных рамах – от пола до потолка. Они отражали зал без искажений, и в каждом отражении я стояла в центре с горящей меткой на руке.

Ллевеллин остановился у входа. Не вошёл в зал – остался у порога, как человек, который провожает пациента в кабинет и не идёт за ним. Я обернулась. Он стоял в проёме, и шиповник за его спиной уже переплетался, закрывая коридор.

– Что будет? – спросила я. Не «что будет со мной» – просто «что будет». Без субъекта, как спрашивают о погоде.

– Пелена коснётся метки, – сказал Ллевеллин. – Через кольцо. Метка проявится полностью. Это закрепит связь.

– Закрепит.

– Да.

– Навсегда.

Ллевеллин помолчал. Пауза была короткой – полсекунды, не больше, – но я слышала в ней то, что Ллевеллин не говорил: «да, навсегда», и не говорил это, потому что «навсегда» звучало как приговор, а приговор не объявляют, пока пациент не ляжет на стол.

– Связь с Пеленой – не временная, – сказал Ллевеллин. Голос был тёплым. Ровным. Тем же тоном, каким говорили «вам нужно время, чтобы понять». – Вы уже носите метку. Кольцо уже на вас. Ритуал подтверждает то, что есть.

– «То, что есть», – повторила я. Фраза вернулась ко мне пустым эхом. Я знала только слово «Хранительница», но не понимала, что за ним стоит. Пелена должна была меня узнать, ритуал – закрепить связь, однако это были лишь объяснения Ллевеллина. Метка горела, кольцо холодило палец, а шиповник за спиной уже сомкнулся.

Я подошла к каменному ложу. Ткань была тёплой – не от камня, от чего-то другого. Я положила руку на ткань, и метка вспыхнула ярче, и я отдёрнула руку, но не успела – вспышка прошла через ладонь, через кольцо, в метку, и метка загорелась так, что я видела свет сквозь кожу всей руки – от пальцев до запястья, розовый, тёплый, пульсирующий.

Я стиснула кулак. Левая рука – с кольцом, с меткой – сжалась, пальцы вдавились в ладонь, и я прижала кулак к груди, спрятала руку, как прячут рану. Метка не остановилась. Пульс ускорился, и свет проступил сквозь сжатые пальцы – розовый, тёплый, и я видела его, и Ллевеллин видел его – я знала, потому что он стоял у порога и смотрел, и лицо его было неподвижным, и глаза – светлые, серые – следили за меткой с тем же медицинским вниманием, с каким он осматривал мою руку в саду.

– Не сопротивляйтесь, – сказал Ллевеллин.

– Не говорите мне, что делать, – ответила я. Голос вышел хриплым, и я не контролировала его, и это злило, и злость была лучше страха, и я держалась за злость, как держатся за край стола, когда пол качается.

Я подошла ближе к ложу. Метка отозвалась коротким натяжением, но на этот раз не потянула меня вперёд.

Я разжала кулак. Не потому что решила – потому что пальцы не слушались. Сжатие не помогло. Прятать руку не помогло. Метка расширялась, и свет проступал сквозь кожу, и контур удлинялся, и я видела его – тёмно-красный, рельефный, идущий от безымянного пальца по тыльной стороне ладони, через запястье и дальше, к локтю. Линии были не ровными – они изгибались, расходились, сходились, и я видела в них то же, что видела в гравировке кольца: ритм, который не переводился в слова, но был осмысленным.

Кольцо нагрелось. Не так, как в квартире – не как керамическая кружка с плиты. Сильнее. Жжение шло от кольца к метке, и метка отвечала, и я чувствовала, как кольцо и метка разговаривают – не метафорой, а ощущением: кольцо посылало тепло, метка отвечала пульсом, кольцо – теплом, метка – пульсом, и ритм ускорялся, и я стояла посреди круглого зала с зеркалами от пола до потолка и не могла остановить разговор между кольцом на моём пальце и меткой на моей коже.

Боль пришла сразу – резкая, горячая, от пальца через запястье к локтю. Я остановилась, но не отступила. Ещё шаг. Боль поднялась выше, к плечу. Ещё шаг – и перед глазами потемнело. Тогда я отступила. Боль ослабла, натяжение исчезло, зрение прояснилось.

Метка потемнела. Тёмно-красный стал тёмно-серым, потом – чёрным. Не цветом – отсутствием. Линии на коже стали провалами, как тени в складках ткани, и я видела их рельеф – не плоский рисунок, а впадины и гребни, которые можно было ощутить пальцем. Я провела подушечкой большого пальца правой руки по метке на левом запястье. Гребень. Впадина. Гребень. Рельеф, вырезанный в коже, и кожа вокруг была нормальной – не воспалённой, не опухшей, – и метка лежала в ней, как гравировка на металле.

Боль не отступала. Я отпустила кольцо. Опухоль спала настолько, что металл снова сидел плотно, но уже не впивался. Чёрная рельефная метка тянулась от пальца до локтя. Во всех окружающих меня зеркалах линии выглядели совершенно одинаково. Серебряные отражения множили руку и подтверждали: изменение было реальным.

Ллевеллин стоял у порога. Не входил. Я повернулась к нему, и он не отвёл взгляд – смотрел тем же медицинским, ровным взглядом, и я видела в его лице то, что видела в саду: прямую линию рта, не улыбку, не нахмуренность, а покой, который был информацией.

– Вы сказали – Пелена должна узнать свою Хранительницу, – сказала я. Голос был ровным. Злость помогала. – Узнать. Как будто она не знала. Как будто она – отдельная. От кого?

Ллевеллин помолчал. Пауза длилась дольше прежних – не полсекунды, а две, и я слышала в тишине дыхание зала: медленный ритм, вдох-выдох, и метка пульсировала в такт, и шиповник на стенах, если он здесь был, дышал в такт.

– Пелена – не механизм, – сказал Ллевеллин. – Она... живая. Она реагирует. Она выбирает.

– Выбирает.

– Она выбрала вас. Через кольцо. Через метку. Ритуал подтверждает её выбор.

Я слушала. Слова были те же, что в саду – «наследие», «род», «связь», – но между ними проступало другое: «живая», «реагирует», «выбирает». Пелена – не стена, не барьер, не линия на карте. Пелена – существо. Существо с волей, которое выбрало меня, и я не могла отказаться, потому что кольцо не снималось, и метка была рельефной, и ритуал уже шёл, и Ллевеллин стоял у порога и не входил, потому что входить не нужно – Пелена делала всё сама.

Я подошла к каменному ложу и опустила левую руку с меткой на ткань. Метка вспыхнула, но на этот раз я не отдернула руку. В кости возникла тупая, глубокая боль. Я продолжала держать ладонь на ткани, чувствуя, как ритм метки совпадает с ритмом тёплого камня под ней. Метка на коже и камень словно дышали в унисон.

Я подняла руку и перевела взгляд на ложе. Там, где ткань сдвинулась, по краю камня шли линии – тот же контур, что на моей коже. Совпадали изгибы, впадины и гребни. Я провела пальцем по камню и ощутила знакомый рельеф. Пелена словно хранила образец, а кожа новой носительницы повторяла его.

Я выпрямилась. Метка пульсировала ровно и глубоко, в такт камню, стенам и дыханию зала. Кольцо оставалось холодным. Палец под ним казался истончённым, будто металл втянул плоть и стал частью кости. Чёрная рельефная метка тянулась от пальца через запястье по предплечью до локтя. В зеркале она выглядела так же, как на руке: чёрной, объёмной, постоянной.

Ллевеллин вошёл в зал. Тихо, без объявления, и встал рядом – не вплотную, на расстоянии вытянутой руки. Я не отстранилась. Не потому что хотела его близости – потому что не было сил отстраняться. Боль отступила до фона, но фон был тяжёлым, как свинец, и руки были тяжёлыми, и ноги были тяжёлыми, и я стояла и смотрела на свою руку в зеркале и видела метку, которая больше не была рисунком.

– Можно я... – я не закончила. Не знала, чем продолжить. «Можно я уйду» – куда? «Можно я присяду» – зачем? «Можно я сниму кольцо» – я уже пробовала. Я замолчала. Ллевеллин не настаивал. Он стоял рядом, и я видела его отражение в зеркале – высокое, тёмно-зелёное, со светлыми волосами. Лицо в отражении уже не казалось мягким. Скулы выше, подбородок острее, линия рта прямая. Лицо человека, который держит себя в покое, потому что любое выражение выдаёт информацию, а он её не даёт.

– Мазь, – сказал Ллевеллин. Достал из складки одежды ещё один такой же глиняный сосуд. – На метку. Не втирать. Оставить.

Я не взяла. Ллевеллин поставил сосуд на край каменного ложа и отступил. Я смотрела на сосуд – маленький, глиняный, с тёмной глазурью, – и думала: мазь от ожога. От метки. От

того, что Пелена сделала с моей кожей. Мазь – как повязка на рану, которую нельзя залечить, потому что рана – не повреждение, а печать.

Ллевеллин ушёл. Тихо, бесшумно, и шиповник в проёме арки сомкнулся за ним, и я осталась одна в круглом зале с зеркалами от пола до потолка, с каменным ложем, с глиняным сосудом и меткой, которая больше не была рисунком.

Я села на ложе. Ткань была тёплой. Камень под тканью дышал, и метка дышала в такт, и я сидела и смотрела на свою руку. Чёрные линии на бледной коже, от пальца до локтя. Рельефные. Ощутимые. Постоянные. Я провела подушечкой большого пальца по метке – гребень, впадина, гребень – и линии были ровными, не хаотичными, и я видела в них композицию. Не узор – структуру. Как у шрифта, в котором каждая буква отдельна, но все построены по одному принципу, и принцип – не красота, а функция.

Я встала и подошла к зеркалу. Серебряная поверхность была холодной, отражение – правильным: комната, каменное ложе, я сама. Чёрная рельефная метка выглядела в зеркале так же, как на руке. Я прижала ладонь к серебру. Холод вошёл в палец и метку, но ответа не последовало – ни боли, ни тепла, ни изменения ритма. Только молчание. Когда я убрала руку, нагретый прикосновением участок серебра начал медленно остывать.

В углу зала, у основания одного из зеркал, лежал блокнот. Не мой – другой, в тёмной обложке, потёртой, с заломами на сгибе. Я подошла, подняла. Тот же формат, что у бабушкиного, но новее – кожа мягче, страницы не вырваны. Внутри – чистые листы. Я вытащила карандаш из-за корешка – короткий, с тупым грифелем, и села на край ложа, и положила блокнот на колени.

Я снова перенесла метку на бумагу: короткая линия слева, длинная с изломом справа, нижняя замыкающая дуга. Рисунок получился точным, но плоским. На коже же линии были чёрными, глубокими, ощутимыми под пальцами. Я усилила нажим, однако графит лишь потемнел. Бумага передавала форму, но не глубину. Даже рука, привыкшая с детства фиксировать лица, пейзажи и фактуры, не могла воспроизвести рельеф, словно вырезанный в коже.

Я закрыла блокнот и положила сверху карандаш. Я сидела на каменном ложе среди зеркал и смотрела на чёрную рельефную метку. Впервые мне не удавалось полностью зафиксировать на бумаге то, что я видела. Не так, как в квартире, где нарисованная линия почему-то получалась короче. Теперь контур был верным, но плоский рисунок не передавал объёма, а именно объём оказался сутью метки.

Я встала. Ноги слушались, руки слушались, тело было тяжёлым, но послушным. Я подошла к арке – шиповник раздвинулся, пропуская, – и вышла в коридор. Коридор вёл вверх, полого, и я шла, и метка пульсировала ровно, и камень под ногами дышал, и я дышала в такт, и это было – не нормально, не привычно, но реально, как реально было всё в этом мире: камень, шиповник, воздух с привкусом меди, боль в кости, метка на коже.

Коридор вывел в сад. Я вдохнула плотный, насыщенный цветами воздух; лёгкие понемногу привыкали. На дорожках горели фонари, вдоль стен с двадцатисекундным интервалом проходили патрульные пары, шиповник цвёл. Мир, которого не было на картах, обретал устройство: сад, казармы, стражу, целителя с тёплым голосом и живую Пелену, которая реагировала и выбирала.

Я подошла к ограде сада. Невысокая стена, по пояс, с шиповником по гребню. За стеной – обрыв, и за обрывом – лес, тёмный, густой, Серебряный лес, и небо, белёсое, без облаков. Я смотрела на лес, и метка пульсировала ровно, и кольцо было холодным, и ветер шёл снизу, из-за обрыва, с запахом пыли и полыни, и я вдохнула и узнала запах – из сна, из видения, из камня, на котором стояла.

За оградой, у края леса, стоял силуэт.

Широкие плечи. Тяжёлая голова, наклонённая. Рога – тёмные, матовые, с бороздками, как на старом дереве, и излом у основания левого рога, заросший, с более светлым ободком.

Силуэт стоял неподвижно, на границе между лесом и двором, и смотрел в мою сторону. Не как отражение, не как сон – как живой. Глаза были тёмные, с красноватым отблеском, и я видела их – не вблизи, как в зеркале, а издалека, через сад, через ограду, через обрыв, – и всё равно видела, что он смотрел на меня. Не на сад, не на двор – на меня.

Метка пульсировала медленнее сердца. Тупая боль после ритуала оставалась в кости, но поверх неё появилось другое ощущение – натяжение. Тонкая нить тянулась от руки через сад, ограду и обрыв к рогатому силуэту у леса. Я не понимала, был ли это отклик или новая боль. Мы смотрели друг на друга с разных сторон двора, и нить между нами не слабела.

Глава 6. Этикет шипов

До рассвета в комнате появились низкий письменный стол и принадлежности для рисования. Их принесли молча, пока я умывалась у кувшина: карандаши 2Н, НВ и 4В, стопка грубой желтоватой бумаги и канцелярский нож. Я разложила карандаши в ряд, как хирургические инструменты, и заточила их, понемногу поворачивая каждый под лезвием. В бумаге виднелись вкрапления, будто в массу при изготовлении вменяли толокно. Она не подходила ни для акварели, ни для пастели, но другой не было.

Я вынесла стол к дальней арке коридора, откуда сад был виден почти целиком: дорожки, кусты шиповника, каменная скамья, фонарь на кованом крюке. Я поставила лист, прижала край левым локтем – правая работала – и начала. Кончиком 2Н, лёгкими штрихами, набросала композицию: передний план – скамья, средний – кусты, задний – ограда и узкий каменный разлом перед внешней кромкой двора. Линии ложились, но не держали. Грифель цеплялся за грубые рыхлые волокна, и штрих дробился на зернистые, неравномерные линии.

Я подняла взгляд. У скамьи в саду проходили двое стражников в тёмной одежде, с прямыми спинами. Лиц я не видела – слишком далеко, – но различала силуэты и позы. Опустила глаза к листу, провела линию края скамьи, снова посмотрела. Первая пара уже скрылась за кустом, а по тому же маршруту приближалась следующая – один стражник ниже, другой шире в плечах. Это была не смена постового, а очередная патрульная пара, проходившая мимо через короткий промежуток.

Я отложила карандаш и стала считать. От одной патрульной пары до следующей – около двадцати секунд. Через минуту маршрут повторялся, но лица и телосложение менялись: патруль был ротационным, а не состоял из одного бессменного постового. Я не могла зафиксировать сцену, потому что фигуры входили в композицию и уходили по графику, которого мне не объяснили. Надзор был круглосуточным. Я – не гостя, за которой присматривают из вежливости. Я – объект, который контролируют по расписанию.

Я перевернула лист. На чистой стороне написала: «Патрульные пары – примерно каждые 20 секунд. Состав меняется. Рост, плечи, поза». Положила карандаш. Посмотрела на руку. Метка была чёрной, рельефной, от пальца до локтя. Тупая боль в кости – фон, который мазь не заглушала, а отодвигала на полшага. Я провела большим пальцем по метке на запястье: гребень, впадина, гребень. Рельеф, вырезанный в коже. Постоянный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.